

П у б л и к а ц и и

РЕАЛИСТ-МЕТАФИЗИК

(По случаю 50-летия со дня смерти Достоевского)

Мотейус Мишкинис

I. «Реализм» Достоевского. Общее впечатление от его произведений

«Меня называют психологом – неправда, я реалист в высшем смысле, потому что изображаю все глубины человеческого духа». Так сказал Достоевский сам о себе.

Реалист, романтик, символист, натуралист и др. понятия слишком относительны; более того, – они не противоречат, по крайней мере на практике, друг другу. Есть писатели, которых можно величать по-разному, как нам захочется, однако в любом случае мы не сможем втиснуть их в рамки какого-либо литературного «направления». Классифицированию не подлежит ни Данте, ни Шекспир, ни Гёте, ни, наконец, Достоевский...

Достоевского понять нелегко: его никогда не поймет чуждый его духу человек, говорит Н. Бердяев в своей монографии. Тем не менее вряд ли найдется мыслящий и чувствующий человек, которого не удивило бы, даже при первом прочтении великих его сочинений, это исключительное, неповторимое явление – Достоевский...

«Что это – искусство или наука? Во всяком случае это не „чистое искусство“ и не „чистая наука“. Здесь точность знания и ясновидение творчества – вместе. Это новое соединение, которое предчувствовали величайшие художники и ученые, и которому нет еще имени» (Мережковский).

Героев романов Достоевского и вообще изображаемую им жизнь ни в коем случае нельзя воспринимать как документ российской действительности, пусть и художественный. Если уж Достоевский реалист, то, конечно, не такой, который интересуется жизнью общества, обыденными, повседневными отношениями между людьми, бытом.

На человека и общество влияют разнообразные, часто очень сложные, условия и среда: культура народа и века, сословие или класс, к которому он принадлежит, семья, школа... Писателя, которому все это очень интересно, который соединяет индивида и общество с конкретным «временем и пространством», можно назвать реалистическим бытописателем. Реалистов этого типа,

конечно же, отличают друг от друга разные индивидуальные особенности: больший или меньший дар наблюдательности, большие или меньшие способности к синтезу; один является более лирическим, другой – более эпическим, один более художник, другой – менее и т.д., но в целом им будет присуща одна общая особенность: изображать жизнь устоявшуюся, так называемой статичной формы (романы Тургенева, «Пан Тадеуш» Мицкевича). Достоевский, как отмечалось, является реалистом другого типа: для него важно рассмотреть человека не как порождение разных условий и факторов – это не позволит увидеть самого человека, его непреложную сущность, но как человека, разорвавшего все связи с миром, со своими близкими и даже с Богом. Достоевский срывает плотную кору, человека скрывающую, показывает его нагим и одиноким. Поместив такого человека в определенные, им самим придуманные условия, он получает такие результаты, которые неискушенному читателю часто могут показаться невозможными, «выдуман-ными», фантазией больного человека (Раскольников, Ставрогин, Кириллов). Это особенный метод Достоевского, в силу которого мы можем назвать его реалистом-экспериментатором, «изобразителем» экс-статичных форм жизни. Для Достоевского важно не то, что существует, но то, что может быть или что будет. Мир духовный так же, как и мир вещественный, полон, по выражению Леонардо да Винчи, непредвиденными возможностями, которые еще никогда не воплощались.

Дух – именно, дух человека – для Достоевского единственная реальность, достойная внимания, центр его творчества. Достоевский – величайший диагностик духа и антрополог.

«Широк человек, слишком широк», говорит один из героев «Братьев Карамазовых», надо бы его сузить... Но человек не столько широк, сколько глубок. Для его постижения требуется новое измерение – в глубину...

Произведения Достоевского принято называть романами, но лучше бы их назвать трагедиями (конечно, из-за их содержания и внутренней структуры, а не из-за внешней формы). Если мысленно обособить героев его произведений от различных, порой многочисленных эпизодических лиц, от среды, от разнообразного предметного мира – получим более сильный конденсат действия и фабулы, чем в любой другой трагедии мирового масштаба. Обособим мысли Раскольникова, Ивана Карамазова или Кириллова – разве не предстанет перед нашими очами трагедия всего мира, всего человечества?

Достоевский, словно какой-то волшебник, раздвигает и уплотняет время. При чтении, например, «Преступления и наказания», сначала кажется, что с того момента, когда Раскольников впервые покинул свою комнатуху, до того момента, когда он, умертвив старуху, собирается идти сдаваться в руки правосудия, прошло, по меньшей мере, несколько недель, но вдруг вспоминается, что только вчера похоронен Мармеладов, что еще и трех дней не миновало... Читатель обольстился иллюзией и, все время напряженно следя за трагедией Раскольникова, как будто потерял чувст-

во восприятия времени. Все остальное, хотя и очень «интересное», вся череда беспрестанных событий только поспособствовали возникновению иллюзии. У нас, словно зачарованных, не было времени передохнуть и разобраться.

Жизнь в произведениях Достоевского – какая-то особенная фантазмагория. Тут за краткий промежуток времени происходят такие вещи, каких не придумает ни один фантаст. Только фантастика его насквозь реалистична.

«Я ужасно люблю реализм в искусстве – реализм, который, так сказать, доходит до фантастики... – Что может быть фантастичнее действительности? То, что большинство людей называет фантастическим и исключительным, то для меня составляет самую сущность действительного...» (Достоевский о себе).

В самом деле – что может быть более ясным, более прозаичным, более «ощутимым», чем местность, люди, события, речи в его произведениях?.. Что может быть «реальнее», чем комнатуха Раскольниковова, в которой у него рождается мысль отвергнуть пятую Божью заповедь, чем грязный, с «охрипшим соловьем», трактир, в котором два брата, Иван и Алеша, решают метафизические проблемы, чем забрызганные помоями ступени ведущей к квартире Мармеладова лестницы; или — кашель Катерины, котомка князя Мышкина, вонь захламленных улиц Петербурга, воздух полицейского участка, насыщенный запахом махорки и шуб?..

Все это вместе и реалистично, слишком реалистично, и слишком фантастично. Так что при чтении Достоевского порою трудно определить, где за-

канчивается одно и начинается другое.

Многообразная обстановка произведений Достоевского на самом деле лишь декорация, необходимая ему для выявления судеб своих героев.

В лабиринте людей, событий и вещей Достоевский никогда не блуждает и не теряется; всегда крепко держит вожжи фабулы, он в поле зрения удерживает и мельчайшие детали. «Этот художник – зверь», сказал о нем кто-то. Его глаза – рысьи глаза; от его взгляда никто и ничто не может утаиться.

Череда событий в произведениях Достоевского – не бессвязное нагромождение, а систематизированный организм. Тут нет ничего ненужного и случайного – ни лишних людей, ни их взаимоотношений. Кажущееся совершенно случайным столкновение одного человека с другим на самом деле имеет значение фатальности: случайно услышанный Раскольниковым в трактире разговор между офицером и студентом толкает его в итоге на преступление.

Какая-то несомненная, однако трудно поддающаяся пониманию связь соединяет Раскольникова со Свидригайловым, Мышкина с Рогожиным, Верховенского со Ставрогиным, Ивана Карамазова со Смердяковым... Кажется, что судьба отдельных людей, их отношения с другими людьми предreshены заранее (предопределение) не здесь, в грязных кабаках или на известкой провонявших улицах, но где-то в ином, неэмпирическом мире...

Это своеобразная мистика Достоевского.

Если мы по прочтении любого известного произведения Достоевского попытались бы придумать иную судьбу

для его героев, то увидели бы, что это нам не удастся. Тут все сплошь аподиктически и неизбежно, как в греческой трагедии.

Достоевский – человек, которому многое нужно было сказать; он писал и писал, всегда второпях, страстно и нервически. Поэтому и слог его порой так лапидарен, и способ выражения мысли столь необычен. Он не является художником слова в привычном смысле этого словосочетания – такую эстетику, какую мы ищем в произведениях писателей спокойного «аполлонова» настроения, тут искать не следует. «Писатель должен страдать и страдать» – сказал Достоевский одному юному, едва начавшему сочинять стихи поэту. Достоевский мучается сам и мучает читателя, поэтому его романы производят тяжелое, давящее впечатление. Читая его произведения, чувствуешь себя словно в подземелье, и дышать снова становится легко лишь при виде солнца. Но читатель, видящий в творчестве Достоевского лишь мрачное, ничему у него не научится – Достоевский станет близок и понятен только для того, кто в хаосе и мраке узрит свет...

II. Душа и дух

Утверждение самого Достоевского, что он – не психолог, может ввести нас в заблуждение. Так кто же тогда психолог, если не Достоевский, «изобразитель глубин человеческого духа»? Так может спросить не один читатель.

Для большей ясности обсуждаемого вопроса следует оговорить, кого мы называем психологом. Психолог – это писатель, который способен не только увидеть проявления внутренней жизни

человека и установить их взаимосвязь, но вместе с тем способен показать причины этих проявлений, иногда очень сложные, по которым жизнь внутренняя, или жизнь души, совершается. Ясно, что психолог психологу рознь: один не преодолевает рубежа неглубоких наблюдений, не способен увидеть взаимосвязи душевных проявлений, не может их систематизировать, другой же показывает нам их согласное единство, но редко кто способен к видению закономерностей. Градация от совсем примитивного писателя-психолога до такого великана, как, например, Шекспир, очень большая и разнообразная, промежутки воистину огромны.

Самым великим выразителем сложной и на удивление богатой жизни человеческой души является, конечно же, Шекспир, этот наивеличайший психолог во всей мировой литературе. Шекспир – выразитель радостного ренессансного духа, того Ренессанса, который возродил античное понимание человека и его земной жизни. Человек Эллады, избавившись от страха перед природой, ее силами, привязался к земле, полюбил ее и отождествил себя с нею. Поэтому и умирающий древнегреческий мир, и мир римский не принимали христианство, так как в нем человек античности видел врага самой жизни и ее радостей. Христианство провозглашало потустороннее царство Божие, с презрением смотрело на земную суету.

Ренессанс очистил античное мировоззрение от остатков греческой религии, унаследованной еще от времен доисторических, от времен «до» и «после» Гомера, полностью избавил от страха пред греческими «мойрами» и

слепыми силами природы. С течением времени наука Ренессанса полностью разрушила верование в небеса и ад, которые существуют, так сказать, объективно, как определенные материальные реальности; во-вторых, опровергла мистичность и аскетичность Средних веков и навсегда прервала бывшую прежде крепкой их связь с потусторонним миром.

Астрономическое небо ренессансно-го и постренессансного периода – такое же материальное небо, как и в «Комедии» Данте, но оно намного больше, оно – пространство без конца и края. За девятым кругом дантовского неба есть эмпирейное небо, где живет Бог, тогда как за видимыми астроному планетами и звездным небом, возможно, есть всего лишь пустота, «размеров» которой не может объять человеческая мысль. Человек осознает себя перед всем космосом пылинкой, потерявшейся в пространстве мирозданий. Тогда человеку остается лишь искать мир другой, чисто внутренний мир души, долженствующий заменить ему все. Человек вновь становится своеобразным центром мироздания, однако теперь он наглухо закрыт в многообразии сфер собственной души.

Открыта новая область, область бурных страстей энергичного человека. Человек вновь становится «мерой всех вещей», как провозгласили когда-то софисты. Человек понимает, что должен укрепиться на земле и рационально упорядочить жизнь собственную и своих близких. Растет гордость и уверенность в своих силах, а вера в Бога постепенно заменяется верой в человека и человечество (отсюда «гуманизм»).

Весь промежуток времени от начала Ренессанса до Достоевского, почти пятьсот лет, есть не что иное как развитие «человеческой религии». Великий Гёте тут тоже не составляет исключения: начав первую часть «Фауста» с мучительного сомнения в человеческих силах, вторую часть произведения он все-таки завершил гуманистической верой в человека.

Достоевский зачинает новую эпоху, возвышая голос против прежнего гуманистического взгляда на человека; он осуждает гуманистическую религию, религию без Бога.

Но где искать Бога? Если человек есть, в чисто ренессансном понимании, только комплекс проявлений души (страстей, желаний, влечений, чувств etc.), если только эти, ч и с т о п с и х о л о г и ч е с к и е, человеческие силы составляют человека как высшее создание э м п и р и ч е с к о г о мира, то человек есть всего лишь бездуховное существо, всего лишь высшая ступень в иерархии тварей этого мира. Различные человеческие силы в чисто психологическом смысле, его душа – это только видимость, периферийность, наружность. Эти силы, по Достоевскому, есть лишь проявления [души].

Достоевский ищет не этих проявлений, а субстанцию, д у х. Душа и дух для него – н е р а в н о з н а ч н ы е п о н я т и я. Достоевский вещает о том духе, о котором нам провозгласило христианство устами Святого Иоанна, однако вещает не как богослов, а как художник-антрополог. И для него, как и для представителей Ренессанса, важен человек, однако человек не внешний, а измерения другого, третьего, – глубины.

Решить вопрос о Боге для Достоевского равнозначно решению вопроса о человеке, так как в человеке, в глубинах его духа (а не души!) происходит решающая битва Бога и дьявола! Достоевский проникает в эту человеческую бездну, в самую ее глубину; он видит свет, искру Божьего духа в падшем, «темном» человеке, а зародыш дьявольского духа зрит в «светлом». Кажется, не будет погрешностью сказать, что он исследует сферы не сознания, а подсознания (*Unterbewusstsein, subconscientia*) – те сферы, которые, правда, признает и современная наука, но против которых она пока еще бессильна.

Следовательно, называть Достоевского психологом нельзя, так как он – больше чем психолог. В терминологии литературоведения еще нет ему наименования.

III. Свобода. Путь Раскольников

«И познаёте истину, и истина сделает вас свободными». Так сказано в Святом Писании. Для Достоевского свобода важна не в психологическом и ни в коем случае не в политическом или социальном плане, но лишь в метафизическом.

Свобода есть величайший Божий дар, но вместе с тем и величайшее бремя, ибо ввергает человека в соблазн. Человек без свободы, с одной стороны, всего лишь вещь, включенная в общую вереницу взаимосвязи всех вещей мира. Такой взгляд на человека унижает его. С другой стороны – свобода выдвигает перед человеком трудную дилемму выбора между добром и злом. В свободе – трагедия человека, источник самых больших его страданий.

Путь «сильных» людей Достоевского – это путь человечества, удалившегося от истины; его «сильные» люди суть заблудшие люди, переступившие границы свободы, провозгласившие «бунт» и «своеволие» (любимое слово Достоевского). Своевольный человек Достоевского осмеливается занять место Бога и провозгласить свою религию и свою мораль. Он начинает «исправлять Его деяния», в нем зарождается дьявольская гордость.

Писатель, показывая ложный путь людей, соблазненных свободой, использует особенный метод: он сам проходит все этапы их бунта и своеволия, однако лишь для того, чтобы показать крушение «учения» своих героев. Это своеобразный метод Достоевского, диалектический и экспериментальный.

Достоевский, как всякий великий писатель, идет по линии наибольшего сопротивления, он избличает великодушнейших бунтовщиков, объявивших своеволие по альтруистическим соображениям, во имя счастья человечества и лучшего миропорядка. Раскольников, изобретя особую теорию преступления, подразделяет людей на две категории: на сильных и слабых. Слабые должны быть послушными и «любить свое послушание». Это материал для второй категории людей, для немногочисленных сильных, которые ведут человечество новым путем, провозглашают новое слово. Сильные, когда это требуется для всей ими управляемой массы, для благополучия слабых, могут позволить себе (своей совести) переступить через один-другой труп человека слабого, удалить одного-другого со своей дороги, нарушить закон, который ведь сильными для слабых писан.

Размышляя «рационально», кажется, что Раскольников прав, устранив зловредную, гадкую старуху с целью употребления ее денег «на благодеяние». Одна старушонка и десятки, сотни изголодавшихся детей, чахоточных женщин, бедствующих, голодающих студентов – словом, множество людей, в нищету ввергнутых, возможно, этой самой старушонкой... «Арифметика», как будто бы, должна оправдать «подвиг» Раскольникова хотя бы для него самого, автора и исполнителя теории.

Однако мы видим, что никакие логические рассуждения не спасают его, «сверхчеловека», от понимания того, что тут «не все в порядке». Достоевский не был бы Достоевским, если бы он заставил Раскольникова сразу же после преступления раскаиваться. Тогда это был бы обыкновенный сентиментально-дидактический роман, написанный на тему.

Раскольников не раскаивается, он злится сам на себя за то, что ему неловко. Он страдает, но по другому поводу – что он не герой, но «тварь дрожащая», что он не осилил мнимого величия своего поступка. Поэтому Раскольников более преступник **т е р ь**, после убийства старухи, нежели тогда, когда ее убивал. «Я на первом шагу споткнулся, потому что я – подлец».

Что же делать?

«Сломать все, одним подвигом, да и только, а страдание взять на себя. Свободу и власть всей твари дрожащей и всему муравейнику...».

Процитированное место особенно примечательно: оно лучше всего объясняет нам бредни Раскольникова о бущем земном рае, о царстве небесном

на земле, достигнутом насилием и принуждением. Получается, что любовь к человеку требует применения насилия к этому же человеку... Человечество – дрожащих тварей муравейник... Тут кроется ужасное противоречие, которого не увидела так называемая Великая французская революция и век девятнадцатый, насквозь гуманистический, мечтавшие о всеобщем счастье. Это своеобразная религия социализма и провозглашенная ею гуманистическая, безбожная любовь к безликому коллективу («муравейнику»). Любовь к человеку бывает иногда неистинной и порочной – вот гениальное открытие Достоевского.

Достоевский не говорит о каком-либо воздаянии в загробном мире за дела благие или злые: он только показывает, что зло, «преступление», неизбежно вызывает в самом человеке «наказание». Человек должен страдать, но в страдании, в огне этого чистилища сгорит зло. Суд государственный и суд мнения общественного против самосуда человека внутреннего, самого преступника, есть всего лишь наказание незначительное. Раскольников, сдаваясь в руки правосудия, жаждет кары людской как спасения. Он и отправляясь на каторгу еще не осознавал, в чем виноват; только в конце романа мы видим зачатки его просветления.

Вопрос о преступлении, по прочтении лишь «Пр. и нак.», остался бы для нас все-таки загадочным, неясным в том случае, если бы Достоевский создал только этот роман. Раскольников – только одна часть пути человека своевольного, бунтаря, только начало его пути. Ответ более исчерпывающий

следует искать в других произведениях Достоевского.

IV. Любовь к ближнему и дальнему. Три искушения

Раскольников, как уже говорилось, страдание берет на себя. Созидая счастье для человечества, «сильные» переступают через трупы «слабых» не совсем бессердечно: они сами страдают, они берут на себя ответственность за все насилие, необходимое для достижения этого счастья.

Становясь мучениками по собственному желанию, «сильные» как будто окружают себя нимбом героизма. Но так только кажется... Достоевский постепенно развенчивает этот героизм, показывает, что в нем сокрыт «дьявольский соблазн». Раскольников не видит другого большого противоречия – он, любя будущее, еще несуществующее ч е л о в е ч е с т в о, не любит ч е л о в е к а, поскольку превращает его в простое средство для достижения коллективного счастья. Можно ли любить человечество, не любя человека? Можно ли любить дальнего, не любя ближнего? Оба этих вопроса решает Достоевский, и на оба он отвечает отрицательно.

Наш ближний, хотя он зачастую жалкий и грешный, далекий от совершенства бедняга, однако реальный, живой человек, ценность абсолютная, цель сам по себе, наибольшее в мире чудо, сотворенное Богом по своему подобию. Кто превращает человека в средство во имя абстрактной идеи человечества, во имя каких-либо «высоких интересов», кто жертвует ближним ради дальнего, тот не только отрицает личность обо-

собленного человека, его бессмертный дух, но отрицает человека вообще, отрицает сам себя. Сверхчеловеческое «сильных» в итоге есть нигилизм в прямом смысле этого слова, смерть духовная самого сверхчеловека.

У Достоевского существует лишь одна главная идея (точнее, пожалуй, постулат). Это бессмертие человеческого духа.

«Идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, единственная формула, главная цель и источник правильного сознания для человечества» («Дневник писателя»).

Если нет бессмертия, если человек всего лишь материал для строительства будущего «хрустального дворца», средство для создания грядущего земного рая (социалистического или какого-либо другого – сейчас не столь важно), если он, говоря словами Ивана Карамазова, лишь только «навоз для будущих поколений», то тогда в с ё д о з в о л е н о, тогда нет преступления – и одна тварь (то есть человек) может пожирать другую до бесконечности.

А может, существует другой путь ко всеобщему счастью – без насилия и принуждения? Чтобы ответить на этот вопрос, следует прояснить один эпизод «Бр. Кар.» – «Легенду о Великом Инквизиторе».

Инквизитор, как и Раскольников, жаждет счастья для человечества, только он один знает «истинный путь» к мировой гармонии: следует истребить в человечестве идею бессмертия, освободить от нескончаемых мук совести, сопряженных со свободой человеческой природы. Мы все прекрасно помним повествование Святого Писания об

искушении Христа в пустыне, однако вряд ли когда-либо всерьез задумывались о необыкновенной его глубине, об универсальности смысла.

Вспомним первый сатанинский иску́с – «Обрати сии камни в хлебы» – и ответ Христа о том, что человек жив не хлебом единым, но и словом из уст Божьих... Далее сатана, «могучий и умный дух пустыни», жаждал посеять в Его сердце сомнение в божественности происхождения – «...если хочешь узнать, Сын ли Ты Божий, то верзись вниз (с церковной башни) ... и докажешь тогда, какова вера Твоя в Отца Твоего». Третье искушение – подмена царства небесного царством земным.

По Достоевскому, вся история человечества есть борьба с тремя искушениями во имя свободы духа. Христос отверг искушения, так как не хотел, чтобы человек был поработен хлебом, чудом или обещанием царства земного. Веровать в Него можно лишь свободно и лишь свободно можно принять или отвергнуть Его учение.

Ни энтузиазма восторженных рабов, ни их страха, что вот Он «отымет щедрую руку свою и прекратятся им хлебы», не нужно Божьему Сыну. «Ищите Царства Небесного, и все приложится вам» – это речение для Достоевского не пустословие и не какой-нибудь парадокс, но наивысшая истина.

Антихрист Инквизитор видит, что в глазах слабого, грешного, многочисленного, как песок морской, человечества хлеб земной зачастую становится единственной целью, единственной ценностью, что человек ради хлеба отказывается от своего «права первородного». Инквизитор также знает, что человек

часто нуждается не столько в вере, сколько в чуде с ах; что он, слабосильный, «уставший в своем долгом ожидании огня с небеси», то злословит против Бога и презирает Его закон, то вновь, не в силах обойтись без Божьих чудес, создает собственные и поклоняется «колдовству знахарей и бабьим предрассудкам», хотя он «стократ бунтовщик, еретик и безбожник»...

Инквизитор намерен «исправить Его подвиг», принудить людей принять все три искушения. Необходимо убедить людей, что они нуждаются лишь в хлебе; необходимо освободить их от смятения и мучений совести; необходимо создать тут, на земле, один гигантский коллектив, создать рай, который заменит для них «царство не от мира сего».

Инквизитор знает, что толпы придут к нему и возопиют: «Накорми нас, ибо те, которые обещали огонь с небеси, его не дали!». Хлебы не смогут удовлетворить их полностью, пока их будут мучить свобода совести и свобода выбора добра или зла. Будучи свободными, по убеждению Инквизитора, они никогда сами не устроятся: свободный ум «поведет их такими ложными путями и поставит перед такими чудами, что одни из них, бунтари и храбрецы, истребят себя самих; другие, бунтари, но малосильные, истребят друг друга; третьи, оставшиеся, слабосильные и жалкие, приползут к ногам нашим и возопиют: „Спасите нас от себя самих!“». Это будет второй этап поработнения. Слабые (ведь останутся лишь такие) больше никакого бунта поднимать не будут, они откажутся от всякой свободы, поскольку будут страшиться воспоминаний о былых страданиях.

Тогда Инквизитор устроит для них царство «слабосильных ребятишек», царство всеобщего равенства. Когда они увидят, что никакого высшего смысла жизни нет, им останется только прилепиться друг к другу, любить друг друга по необходимости.

– Все будут счастливы, все миллионы людей... Мы разрешим им и грех, поскольку они так бессильны... Мы заставим их работать, но в свободные часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с песнями, хором и невинными плясками. Мы им позволим всё – судя по их послушанию.

Примечательно выражение «мы разрешим им и грех». Человек-раб, у которого будет отнято внутреннее чувство ответственности, свобода выбора добра или зла, конечно, будет безгрешным... Поэтому неудивительно, что «тихо умрут они, тихо угаснут и за гробом обрящут лишь смерть... ибо если б и было бессмертие, то уж, конечно, не для таких, как они»... Не менее примечательно, что «всё – судя по их послушанию».

В царстве Инквизитора, как уже говорилось, все будут счастливы – несчастны будут только одни управляющие, горсть «избранных», взявших страдание на себя. Они, «избранники», будут страдать из-за того, что столь дорогой ценой куплена мировая гармония. Дух Инквизитора есть дух Антихриста, дух князя мира сего; уверенность в том, что человек может так устроиться на земле, что сей мир земной заменит обещанное ему царство небесное, есть верование антихристианское. Учение о бессмертии коллективности, о всеобщем спасении в принуждении есть ложь. Христианство провозглашает индивидуальное бес-

смертие и индивидуальное спасение – поэтому Достоевский и защищает христианство, это величайшее учение о свободе, от социализма утопически-гуманистического и от социализма революционного. Первый для него не приемлем из-за своего наивного понимания человека как существа единой, чисто человеческой природы. Гуманистический социализм, слепо и чересчур оптимистично веря в культуру и прогресс, не видит трагических противоречий, которые человеческий дух таит в себе, и полагает, что нашу жизнь можно рационализировать, окончательно упорядочить, как «все эти логарифмы» (выражение Достоевского). Показывая людей, исповедующих этот сорт социализма, Достоевский чаще всего слегка иронизирует. Вспомнить хотя бы наивного идеалиста и либерала Лебезятникова из «Пр. и нак.». Врагом более серьезным является революционный социализм с его притязанием на всемирный переворот и желанием стать новой религией, диаметрально противоположной христианству. Социализм – это не экономическая проблема, не вопрос рабочих, а вопрос атеистический, вопрос религии новой, без Бога. Это второе гениальное открытие Достоевского или, выражаясь точнее, гениальное предвидение, поскольку в то время ни в Западной, ни в Восточной Европе никаких явных признаков так называемой пролетарской революции еще не было.

V. Достоевский и русская революция («Бесы»)

В свое время, после выхода «Бесов» Достоевского, где дана ужасающая картина революции, современники писателя

восприняли роман как карикатуру и пасквиль, как плод болезненного воображения или желчь озлобленного «консерватора» и «реакционера». Многим показалось, что автор оклеветал так называемую прогрессивную часть общества, высмеял представителей так называемого «освободительного движения». Тогда действительно трудно было поверить, что сумасшедший выродок Шигалев или грязный провокатор Петр Верховенский являются вождями социалистического движения. Даже самые преданные поклонники Достоевского не могли с этим согласиться. Только теперь, когда русская революция есть факт свершившийся, когда выяснилось, что, к тому же, революция совершилась по Достоевскому, остается лишь согласиться с Достоевским и удивиться его пророческому дару.

Автор говорил не о типических явлениях социалистического движения (уже говорилось, что Д. вовсе не является «изобразителем» этих явлений), но он узрел самую суть социализма, предвидел то, что может быть, или, при определенных обстоятельствах, совершится неизбежно. Уже в 1872–1873 гг. Достоевский ясно увидел ту идейную основу революции, которую тогда не видели ни ее основоположники, ни ее апостолы. Автор недаром дал роману такое название – «Бесы». По Достоевскому, революционеры, эти глашатаи «свободы», сами являются несвободными людьми: ими управляют какие-то подсознательные силы, какое-то необъяснимое желание разрушить и уничтожить все – идею Бога, мораль, храмы и традиции народа, всю существующую культуру, цивилизацию... Герои рево-

люции действуют почти автоматически, они словно «одержимы дьяволом», как говорят в народе; их сковывают ненависть и инстинкт уничтожения. Вот что говорит о них Шатов, в прошлом член их конспирационной группы:

– Ненависти тут много... они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь перестроилась, хотя бы даже на их лад, и стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать и не над чем издеваться. Тут одна только животная, бесконечная ненависть...

Революционеры-практики не испытывают ни капельки того страдания, о котором говорил их теоретик Инквизитор. Для «принудительной гармонии» потребуются реки крови, и ее новые хозяева будут лить, как воду. Исходный принцип всеобщей свободы Шигалев заключает всеобщим деспотизмом. Рабы должны быть все равны! «Необходимо лишь необходимое! Вот новый девиз земного шара!» Цицерону нужно вырезать язык, Копернику выколоть глаза, Шекспира побить камнями. Революция аморальна по своей природе, она становится по ту сторону добра и зла. Знают «бесы», что увлекут массы людей за собой только в том случае, если предоставят им полную свободу согрешить и совершить преступление.

«Санкция на преступление – да это все побегут за нами, не останется ни одного» (Ставрогин). Вожди революции понимают, что им для их нужд пригодятся подлые негодяи, руками которых можно будет уничтожить всех противников. В революции всегда тон задает толпа. Достоевский ясно понимал взаимоотношения между революционной

интеллигенцией и массами. Массы на деле реализуют учение своих учителей. Толпа, освобожденная от всякой морали, от всякой ответственности за свои действия, может воспротивиться вождям и выдвинуть свои требования. Эту опасность отлично понимают Верховенский и Шигалев, они знают способы принуждения толпы к повиновению. Их система – постоянный террор, уничтожение непослушных путем натравливания друг на друга. Разврат сильнейший, систематическая деморализация рабов должны уничтожить все их высшие чувства. «Чтобы не было скучно, мы раз в тридцать лет запускаем конвульсию, и все вдруг начинают поедать друг друга...» То есть постоянная война всех против всех, постоянное кровопролитие, возведенное в принцип. Не свободу и радость несет миру система Шигалева, но кровь, смерть и рабство.

«Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью» (Зосима из «Бр. Кар.»).

Достоевский также предвидел, какую неблагодарную и глупую роль должны сыграть в грядущей революции и ее «подготовительных работах» представители русской «прогрессивной» общественности, разные так называемые либералы. Этот смирный люд, сентиментальные и наивные идеалисты, мечтавшие об им самим непонятной свободе для нации и народа, подготовили почву для деятельности своих «детей», лили воду на их мельницу. Достоевский говорит о либералах с иронией, как о недорослях; это оглупевшие старики, отставшие от жизни, не понимающие действительности, не знающие свое-

го народа. «Русские либералы, говоря словами Шатова, озабочены лишь одним: как бы тут кому-нибудь сапоги вычистить». Отсутствие собственного мнения, ужас всей этой размазни, что, не дай Бог, кто-нибудь заподозрит их в недостатке «свободомыслия», боязнь лишиться репутации прогрессиста – все это побудило молодежь на их «подвиги». Не случайно Петр Верховенский, юркий «бес» революции, – это сын старого либерала Степана Верховенского, а Николай Ставрогин – сын такой же барыни, меценатки и большой подруги Степана.

Либеральное общество, на которое столько времени все смотрели с таким уважением, и которое было увенчано нимбом безошибочности, воспринимало нигилистическое движение «детей» как «свое собственное», органически выросшее из идей «отцов». Свойственная старикам поверхностность с их сентиментальной и ложной любовью к народу, которого они не знали, поспособствует зажиму всей нации в тисках Шигалева.

VI. Иван Карамазов. «Религия прогресса». Кана Галилейская

Достоевский глубоко осмыслил и пережил все возможные пути человека-бунтаря и все эти пути отверг и осудил. Каждый бунтовщик, по-видимому, составлял определенный момент в его жизни. Он отверг и крайний индивидуализм, и крайний коллективизм, которые, как мы видели, в конечном результате совпадают и несут смерть человеку как личности.

Затруднительно найти другого такого писателя, который так глубоко сострадал и понимал бы всю неиссякаемость человеческого горя, мучений, нищеты, физических и духовных страданий. Достоевский видел, что мир утопает в страдании. – Почему несчастны люди, почему мерзнет дитё, почему его никто не обнимет?.. Почему земля почернела от черной беды? – Так спрашивает сам себя Дмитрий Карамазов. Кто во всем этом виноват? Кто возместит за все это людям; и возможно ли возместить? Если, в конце концов, возмездия не будет, то можно ли говорить о какой-либо мировой гармонии? Социализм, как уже говорилось, применяет насилие и умножает людские несчастья. Иван Карамазов является единственным героем Достоевского, осуждающим насилие. Пусть, говорит Иван, человечество после множества совершенных ошибок, после неопишуемых страданий, исканий, создаст, наконец, царство всеобщего счастья и братства. Но что должны будут сказать те миллионы людей, которые этого счастья не дождутся, которые тоже хотели бы сами жить в будущем совершенном мире, хотели бы своими глазами узреть гармонию? И если, к тому же, страданиями этих же миллионов гармония эта будет куплена...

– Я сам хочу увидеть, а если буду уже мертв, то пусть воскресят меня, поскольку если все будет без меня, то где же справедливость? Разве затем я жил, чтобы своими страданиями покупать какую-то мировую гармонию? Я собственными глазами увидеть желаю, как лань ляжет подле льва и как умертвленный простит своему палачу! (Слова Ивана Карамазова).

Достоевский понимает, что счастье нельзя основать на страдании нашего ближнего. И что в жертву нельзя принести ни одного, даже самого крохотного созданища, малого дитяти, даже если его смертью и страданием искуплен был бы весь мир! Всеобщее счастье не стоит ни одной слезинки замученного ребенка.

– Я могу, продолжает Иван, простить за собственные страдания и обиды, но не могу простить за других их страданий. Он, в итоге, отказывается понимать все это. Может быть, он говорит, и есть какой-нибудь высший смысл во всем этом, однако он неведом его «жалкому эвклидовскому уму».

– В окончательном результате я мира этого не принимаю. Я против Бога бунта не поднимаю, я только мира, им созданного, не принимаю и не могу согласиться принять...

В этом утверждении Ивана Карамазова Достоевский сам находит частичную правду. Если всеобщего счастья можно достичь только страданиями других людей, если гармонии не дождутся те, которые уготовят ее своими страданиями и смертью, то не смогут быть счастливыми и будущие люди. Так Достоевский осудил религию прогресса, наподобие того, как раньше – религию коллективизма и хлеба. Теперь остается один путь – оправдать трагедию человечества, но не во имя религии прогресса, а во имя высшего мирового смысла, того смысла, который нашему простому, «эвклидовскому» уму недоступен, от него утаен. Тайна эта, человеческой Голгофы тайна, должна быть принята свободно, поскольку иначе весь наш мир, вся история человечест-

ва будет не более чем бессмысленный „*perpetuum mobile*“ или, говоря словами атеиста Кириллова, глупый «диаволов водевиль». Такова вера Достоевского, прошедшая «через горнило сомнений» и в нем закаленная. Это единственное решение величайшей проблемы, проблемы смысла жизни. Для Достоевского нет и не может быть другого решения. Для неверующего тайна Голгофы является аргументом против Христа – почему Он не сошел с креста по требованию толпы в доказательство своей божественности; для верующего – величайшим утверждением свободы. Христос и тут не хотел поработить человека чудом. Подлинная свобода, по Достоевскому, равна истине и истина равна свободе. Творчество Достоевского – «Осанна» Христу. В этом смысле он – величайший христианский писатель.

В завершение выскажем одно замечание и процитируем несколько фрагментов из «Бр. Кар.». Не следует думать, что Достоевский, возгласивший о людском страдании, был каким-то мрачным фанатиком или врагом жизни. Он, бывший каторжник, в подземелье сохранивший веру в Христа, понимал всю прелесть жизни, ее светлую радость. Отрады этой не завидовал он никому. «Кто любит людей, тот и радость их любит» («Бр. Кар.»). Сердце этого «жестокоталанта», так когда-то наре-

кого критик Михайловский, всегда было полно светлой, евангельской любви к человеку. Источник любви Достоевского – это Христос, о котором мы читаем в «Легенде» – как Он, желая утешить страдающее и грешное, но младенчески любящее Его человечество, пятнадцать веков спустя опять явился миру в скромном образе человеческого. – Народ стремится к Нему, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди их, с тихою улыбкой бесконечного сострадания (подчеркнуто нами). Солнце любви горит в Его сердце... Народ стремится к Нему и целует землю, по которой Он идет. Дети бросают пред Ним цветы и вопиют Ему «Осанна».

Или еще:

– Не для одного лишь великого страшного подвига своего сошел Он в мир. – Доступно сердцу Его и веселие темных и нехитрых людей, позвавших Его на свадьбу в Кане Галилейской.

Так думает Алеша, преклонившись пред гробом старца Зосимы и слушая, как священник читает про первое чудо. Вот кажется Алеше, что гроба уже нет, что старичок в светлой одежде приближается к нему...

– Веселимся, говорит он. Видишь, сколько людей здесь... Из бесконечной любви своей веселится Он с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей; новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет...

*Перевод с литовского
Маргариты Варлашиной*